

ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ 1929
DIMANCHE, 14 JUILLET 1929

КОМЕТЬ **50** cent
BO FRANCI

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА ПОДЪ РЕДАКЦИЕЙ П. Н. МИЛЮКОВА
Quotidien Russe — „LES DERNIERES NOUVELLES“ DE PARIS P. N. MILIOUKOV

LE NUMERO **50** cent
EN FRANCE

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮЛЯ 1929
DIMANCHE, 14 JUILLET 1929

№ 3035

10-й ГОДЪ
ИЗДАНИЯ

195

ABONNEMENT AUX „DERNIERES NOUVELLES“
(Partant du 1 et 15 de chaque mois)
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА „ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ“
(из 1-го и 15-го каждого месяца)

	1 мѣс.	3 мѣс.	6 мѣс.	1 годъ
Во Франції France	18	50	95	185
За-границей Etranger	28	84	120	220

Перемѣна адреса — 1 фр. — Changement d'adresse 1 fr.

Подписка принимается во всякое время
и по отдельности, а также по частям.
Пріемъ объявлений въ Москву и Петербург.
Цена въ Парижѣ и провинціи — 50 сантим.
За-границей — 90 сантим.
РЕДАКЦИОНЪ И АДМИНИСТРАЦИОНЪ
РЕДАКЦИОНЪ И КОНТОРА
25, Rue Bayard, 25, Paris (IX). Тел. Yvelines 22-07. Тел. отдѣла
Ночной телефонъ (послѣ 9 час. вечера) Редакціи

On s'abonne aux „LES DERNIERES NOUVELLES“
dans les bureaux de Poste.
Abonnement au Journal.
Paris et Province — 50 c.
Etranger — 90 cent.
Adresse Yvelines
Телерамскій
адресъ
PARIS
Abonnement Yvelines 24-76
France 27-47

ABONNEMENT AUX „DERNIERES NOUVELLES“
(Partant du 1 et 15 de chaque mois)
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА „ПОСЛЕДНЯЯ НОВОСТЬ“
(из 1-го и 15-го каждого месяца)

	1 мѣс.	3 мѣс.	6 мѣс.	1 годъ
Во Франції France	18	50	95	185
За-границей Etranger	28	84	120	220

Перемѣна адреса — 1 фр. — Changement d'adresse 1 fr.

№ 3035

10-й
ANNÉE

195

25-лѣтіе со дня смерти А. П. Чехова

1904 г. -- 15 Іюля -- 1929 г.

Чеховъ

Несколько лѣтъ спустя послѣ смерти Чехова одинъ изъ полузабытыхъ русскихъ критиковъ писалъ:

«Природенныя настроенія Чехова, въ которыхъ таились элементы русской тоски, сгущенныя и опредѣлившіяся такъ, какъ это бываетъ только въ избранныхъ творческихъ натурахъ, — чрезвычайно благоприятствовали тому, чтобы изъ него выросъ удивительно мѣлкій отрастель преобладающихъ вѣяній и настроеній интеллигентнаго его времени. И не можетъ быть никакого сомнѣнія въ томъ, что историческую роль Чехова будущій историкъ нашей литературы и общественности формулируетъ не иначе, чѣмъ мы: въ Чеховѣ наша литература имѣетъ самаго яркаго и быстраго изобразителя русскаго интеллигентнаго типа 80-хъ и 90-хъ годовъ».

Многіе сейчасъ прочтутъ эти строки съ улыбкой и подумаютъ: «Что намъ сумеречная эпоха? Что намъ девятые годы? Вѣдь бы значеніе Чехова исчерпывалось тѣмъ, что онъ былъ ихъ пѣвцомъ, не велика была бы ему теперь цѣна. Къ счастью, это не такъ». Въ подтвержденіе такихъ мыслей можно было бы добавить, что Чеховъ пользуется сейчасъ очень большимъ распространѣніемъ на Западѣ, гдѣ о немъ много представлѣній не имѣетъ. Слѣдовательно, онъ — «вѣдъ времени»...

И все — такъ тотъ критикъ былъ правъ. Иностранное признаніе Чехова — дѣло одобренное. Но для Россіи Чеховъ — сумеречная эпоха, «предразсѣтные будни». Однако, это не превращаетъ его въ писателя, интереснаго только для исторіи литературы, — такъ какъ Чеховъ не ограничился поверхностнымъ отраженіемъ вре-

мени, бытописательствомъ, а выразилъ духъ его, «судьбу, ничтожество и очарованіе». Читая Чехова, мы не только знакомимся съ уже далекой, уже чуждой большинству насъ полосой русской исторіи, — мы въ нее переносимся, и она вновь для насъ оживаетъ.

Восьмидесятые, девяностые годы. «Безвременье», зстой, намельчаніе, конецъ былыхъ надеждъ и даже не конецъ, а медленное истощаніе ихъ, — ибо недѣли же, какъ говоритъ одинъ изъ чеховскихъ героев, «цѣлый вѣкъ битая головой обѣстину». Предчувствіе, смутная, безпредметная тоска, слабѣющіе нормы. Нанность на словахъ, а внутренне — огромный душевный опытъ. Литература, окончательно отказавшаяся отъ «красоты», но такъ и не обрѣтшая «попытки». Музыка Чайковскаго, съ ея легкими, заранее угадываемыми просвѣтлѣніями, съ общедоступнымъ трагизмомъ, — но какъ будто озаренная вѣтромъ какими-то «нездѣшными звуками». Разговоры: «такъ жить больше нельзя!», «надо перебраться къ сѣверу!», «надо учиться, работать!». Но для чего работать, для чего учиться? Уйти въ народъ? Стать сельскимъ фельдшеромъ, уѣзднымъ врачомъ, «труженикомъ на нивѣ просвѣднія». Многіе пробовали. Ничего не выходило изъ этого, и ничего въ Россіи не измѣнялось.

Впоследствии сразу все напѣнилось. Общественно, литературно, политически, религиозно, культурно — все. И поколѣнія, пришедшія непосредственно на смѣну «безвременью», не безъ высокомерія стали на него полагаться: какое убожество! Какимъ огромнымъ захолустьемъ была тогдашняя Россія. Спорить не стоило: да, была. Еще и теперь, отиравая случайно какой-нибудь журналъ того времени, быва-

ешь сразу пораженъ этой захолустьемъ и скукой, — неся отря на отдаленныя выдающіяся явленія. Стихи «съ португальскаго» или изъ «сербскихъ мотивовъ», юморъ, отъ котораго становится плохо себѣ, какая прелесть бытъ въ повѣсть съ лучшими намѣреніями, со множествомъ «интриговъ» и безъ признака жизни... Но есть что-то въ этой эпохѣ, чего не было раньше, что исчезло въ двадцатомъ вѣкѣ — и что удивительно «идетъ» Россіи, удивительно соответствуетъ одному изъ изъ самыхъ несомнѣнныхъ ея обаяній.

Неужели 80 - 90 - ые годы для насъ воскрешаютъ это, — но трудно найти другое, которое, воплотивъ подходящее слово: духа творчестности, кротости, покорности, бѣдливости, тишины... Слова все не тѣ. Но какъ жуть въ русской природѣ нѣчто, чего ты не встрѣчаешь и не заметишь гордый взоръ иной земной, такъ есть оно и въ русскомъ «безвременьи». О, конечно, забытъ было, и недаромъ «невозвратъ» свою въ началѣ слѣдующаго столѣтія Россія встрѣтила съ такимъ восторгомъ, и какъ будто чужда — умирали — и етъ изъ выдвигавшая. Но, выдвигавшая, ила чуть-чуть и огрубѣла, — въ девятые же годы целена «матеріи», вся вообще (матеріальная и вещественная оболочка жизни) была такъ тонка, что прорывалась ежесекундно. Потому пришли Горькій и декаденты. Горькость Горькаго не сравнима съ Чеховымъ, оцепенѣла для него. Но и декаденты Чеховъ въ раздраженіи называли «задорными мужиками». Они больше не говорили о духѣ и душѣ, они кричали о «прорывахъ матеріи» на любомъ поворѣ. Но самые голоса ихъ были сухие и плоские, и не страдали нисколько отъ своихъ «прорывовъ», а наслаждались и красовались ими, придумывая нѣтъ всевозможныя мистическія названія и обоснованія. Предшественники ихъ, давшие безсмысленныхъ «грезъ» и туманныхъ «идеаловъ», срифмованныхъ съ Вагнеромъ, не могли, — пожелавъ, говорили о большомъ и ужъ на-

вѣрно о болѣе реально ощущаемомъ... Эту полосу своей культурной исторіи Россія теперь можетъ вспомнить, какъ вспоминаетъ человѣкъ время не то что опасной бѣдѣ, но длительной близости къ смерти, усталка силъ, убыли крови, когда такъ легко и не странно кажется «со вѣкомъ разстаться» и такъ часто сами собой улетаютъ мысли — или лучше «грезы» — въ далекое неясное будущее.

Чеховъ не только изобразилъ длинный рядъ «интеллигентовъ», «нытчиковъ», «слабачковъ». Онъ уловилъ вѣянія той эпохи и въ тончайшихъ «обертонкахъ», оживилъ ими свои рисунки, — и, повторяю, читая его, мы не только узнаемъ исчезнувшій бытъ и складъ существованія, мы въ это существованіе проникаемъ изнутри. Единственный изъ крупныхъ русскихъ писателей, онъ въ этомъ отношеніи и можетъ быть уподобленъ Пушкину. Другіе — Толстой, Гоголь или Достоевскій, напрямикъ, выходя на прѣдѣлы русской культуры, не ужинали въ ней и по темамъ своимъ наставляли общечеловѣкомъ, что связать ихъ съ какимъ-либо историческимъ періодомъ невозможно. Если связь и есть, то она незаметна. Конечно, этой связью не исчерпывается ни Чеховъ, ни тѣмъ болѣе Пушкинъ, — но она отъ нихъ неотъемлемая и для нихъ существенная. Въ частности Пушкинъ, по сравнению съ Толстымъ, Гоголемъ или Достоевскимъ, останется, въ сущности, навсегда «провинциально-русскимъ явленіемъ» — безъ всякаго отбѣга отъ умоземія въ этомъ словѣ, а только въ томъ смыслѣ, что онъ писалъ о Россіи и въ Россіи, но ея выхода на всемірно-историческую арену — или непосредственно въ Европу, или черезъ выходъ — и для Европы, несмотря на всѣ наши усилія, малоинтересна. «Всемириность», которую усматривалъ Пушкинъ Достоевскій, этому нисколько не противорѣчитъ, даже если признать ее чуждомъ. Это — особенность Пушкина, совершенно не распространяю-

щаяся на Чехова. Но въ связи своей съ русской исторіей они между собою схожи.

Пушкинъ — подобно русской имперіи — не столько образовался, сколько «возникъ». Непостижимо, какъ и откуда. Выбѣлъ съ Державинымъ онъ — одинъ изъ многихъ русскихъ писателей, чувствовалъ общій единый строй Россіи — страны и государства, еще не раздѣленныхъ, еще не окончательно враждебныхъ другъ другу. И ужъ, конечно, онъ послѣдній изъ нашихъ великихъ писателей, чувствовавший это. Государственными были и Гоголь и Достоевскій, но въ ихъ построенияхъ все было непрочно и невѣрно. Былъ во всемъ у нихъ «надрывъ», преувѣченія, они головой поддерживали государственный парадокъ, а душой рвались въ «міражъ чуждымъ». Пушкинъ могъ критиковать окружающее, но онъ не сомнѣвался въ принципахъ и не былъ разрушителемъ, какъ лучшіе изъ его преемниковъ. Удивительно, что, какъ бы держа въ себѣ «стиль» Россіи, даже болѣе — держа въ себѣ Россію, Пушкинъ умираетъ въ тотъ моментъ, когда ему уже стало бы не похъ силу разваливающееся аданіе сдерживать. Исторія какъ будто пощадила его, избавила отъ окончательныхъ разочарованій. О второй половинѣ царствованія Николая I-го Пушкинъ не сказалъ бы, что тотъ «честно и бодро править нами». Въ сороковые годы Пушкина перестали бы понимать и слушать, и первый Бѣлинскій отъ него оторвался бы, вѣроятно. Пушкинъ умираетъ, выбѣлъ съ «благодѣиємъ» русской исторіи, — пусть только вѣнчанъ, но все же несомнѣннымъ. Дальше начинается разладъ всѣхъ силъ Россіи, съ каждымъ десятилѣтіемъ увеличивающійся. Въ частности въ литературѣ смерть Пушкина совпадаетъ съ утратой тайны стиля, который парой возникалъ впоследствии, выбѣлъ съ величайшей единоличной гениальности, но какъ общее достояніе исчезъ. Какъ общее достояніе стиль требуетъ обязательной дисциплины — общности духовной жизни. Пуш-

кинъ и выражалъ «общее». Послѣ него каждый сталъ говорить о себѣ, отбѣвая только за себя — и стиль былъ потерянъ.

Чеховъ, конечно, неизмѣримо меньше и разсматривать его, какъ «явленіе» въ нашей исторіи, — основаній не пайти. Но будемъ впадать въ лживый юбилейно-патетическій тонъ и говорить о томъ, чего нѣтъ. Но связь Чехова съ ходомъ русской жизни, его «символичность» въ отношеніи ея несомнѣнна. Чеховъ тоже умираетъ въ дату, какъ будто бы предопредѣленную судьбой, унося съ собой въ могилу иблмй періодъ: наканунѣ 1905 года, наканунѣ общественной «весны» и долгожданнаго подъема. Его смерть тоже совпадаетъ съ перегибомъ въ русской исторіи, и уже черезъ нѣсколько лѣтъ Чеховъ «отходитъ въ прошлое», становится почти — что классикомъ. Слабѣе, чѣмъ Пушкинъ, выразивъ духъ Россіи, Чеховъ тѣснѣе его сплелся со своею эпохой. Привкусъ «сумеречности» есть въ каждой его строкѣ. Оттого онъ иногда отталкиваетъ отъ себя отдаленныхъ людей, даже цѣлымъ поколѣніемъ, стремящимся къ дѣятельности, пугаетъ ихъ, какъ пугаетъ ихъ и все то время, — «Надо дѣло дѣлать» — утверждаетъ Чеховъ устами одного изъ своихъ героев, но самъ то онъ полонъ меланхоліей, мечтательностью, пѣснотой. «Чеховщина!» — съ раздраженіемъ говорятъ иногда люди — и на существовать имъ возражать что-либо трудно. Дѣйствительно, въ «Чеховщинѣ» есть безпримѣнное умиленіе... Эпоха заразила Чехова своей притѣдливостью: чего онъ хочет? Изъ за чего тоскуетъ? О чемъ скучаетъ? Сорокъ лѣтъ тому назадъ надъ этимъ раздумывалъ Михайловскій.

«Г. Чеховъ съ холодной кровью пописываетъ, а читатель съ холодной кровью почитываетъ. Г. Чеховъ гуляетъ мимо жизни, да и читатель Михайловскій долгодотомъ сѣдѣетъ. Напрасно! На счетъ холодной крови Михайловскій ошибся, на основаніи у него были. Еще и теперь при-

ходится нерѣдко читать его мысли — иначе выраженные, конечно.

У Чехова была любимая "завѣтная" мечта, которая въ послѣдніе годы жизни владела имъ, какъ навязчивая идея. Ее на разные лады повторяетъ множество его героевъ.

— "Черезъ двѣсти — триста лѣтъ жизни на землѣ будетъ прекрасной, счастливой", — говоритъ полковникъ Вершининъ.

— "Хорошая будетъ жизнь лѣтъ черезъ пятьдесятъ", — сокращаетъ срокъ докторъ Королевъ ("Случай изъ практики").

— "Надо думать о томъ великомъ искѣ, который ожидаетъ все человѣчество въ отдаленномъ будущемъ" ("Моя жизнь").

Цитатъ въ этомъ родѣ можно было бы привести безъ конца.

Несомнѣнно эта "навязчивая идея" сыграла огромную роль въ обаятельности Чехова для современниковъ. Она пришлась имъ чрезвычайно по сердцу. Она такъ легко и волшебнo соединила въру въпрогрессъ и цивилизацію съ безбрежными, наполовину религіозными мечтами, всегда живыми въ русскомъ сознаниі. Чеховъ не избѣгалъ точности, когда говорилъ о прелести будущей жизни. Онъ не только отхлѣвывался общими словами: "свѣтлая, прекрасная, вѣчная жизнь", — онъ добавлялъ: "изящная и удобная жизнь"... Правду сказать, въ насъ сейчасъ эти лирическія пророчества о будущемъ блаженствіи и комфортахъ вызываютъ скорбій всего удивленіе. Какъ могъ писатель, настолько проницательный и зоркій, такъ безпощадно и правдиво изображавшій человѣка, думать о томъ, что вотъ измѣнятся общественныя условія и настанетъ на землѣ безоблачная эра, или вотъ проникнетъ просвѣщеніе во всѣ классы, покроется вся страна садами и Гурову съ Анной Сергѣевной изъ "Дамы съ собачкой", на примѣръ, не надъ чѣмъ будетъ уже ломать голову и му-

читься. Все само и разрѣшится. Неужели Чеховъ, дѣйствительно, думалъ это? Или и для него "тѣмъ низкихъ истинъ" былъ дороже возвышающій обманъ — и онъ обманывалъ себя и другихъ? Одинъ разъ Чеховъ какъ будто проговорился:

"Не успокаивайтесь! Не уставайте дѣлать добро! Счастья нѣтъ и не должно его быть, а если въ жизни есть смыслъ и цѣль, то смыслъ этотъ и цѣль вовсе не въ нашемъ счастьѣ, а въ чемъ то болѣе разумномъ и великомъ. Дѣлайте добро!" ("Брыжовникъ").

Но это сказано до крайности распылчато, это мимоходомъ и случайно брошено... Къ предсказанію лучшихъ временъ, неизбежность наступленія которыхъ для Чехова ясна a priori, сводятся въ сущности всѣ его мысли о судьбахъ человѣчества — вся "идея" его произведеній. Онъ благовѣствуетъ, пророчествуетъ, и только — объяснять, утверждать, доказывать, спорить, обосновывать онъ и не пытается. Послѣ величія и противорѣчій Гоголя, Толстого или Достоевскаго Чеховъ это — будто спускъ съ горъ на ровную гладкую поляну. Въ идейномъ безразличіи своемъ, Чеховъ самъ признавался, отчасти даже гордился имъ. "Поставьте передо мной цѣль, я и о цѣли напишу разсказъ, мнѣ все равно", — сказалъ онъ какъ-то. Тщетно пытались особорьяныя поклонники Чехова приписать ему то, чего у него не было: глубокое, свое "выстраданное" міросозерцаніе, страстную приверженность къ своему, имъ найденному добру, своей вѣрѣ... Чеховъ предпочиталъ говорить о томъ, что черезъ двѣсти-триста лѣтъ "жизнь будетъ прекрасной", а если и касался порой неразрѣшимѣйшихъ вопросовъ человѣческаго бытія, то лишь какъ художникъ намѣренно — объективный, ни во что не вмѣшиваясь, ни къ какому выводу не склоняясь. Идеино, религіозно, морально это какое то необъяснимое оскудѣніе. Подумайте, послѣ предсмертнаго Гоголевскаго крика: "со-

отечественники, страшно!", послѣ карамазовскихъ загадокъ, послѣ борьбы Толстого съ цѣлымъ міромъ — всего на всего убавляющіеся монологи полковника Вершинина!

Но это оскудѣніе идей и пафоса дало Чехову возможность взглянуть въ людей и жизнь такъ пристально, какъ тѣ, великіе, не успѣли сдѣлать. Чеховъ людей не судить, и онъ, какъ бы чувствуя это, доверчиво подпускаетъ его къ себѣ. Чеховъ наблюдаетъ, заноситъ, записываетъ, замѣчаетъ тысячи мелочей, полумыслей, получувствъ, полудѣлъ, которыя даже отъ Толстого ускользали — потому, вѣроятно, что Толстой разсказовъ о пепельницѣ не сочинялъ. "Онъ бралъ отъ жизни то, что видѣлъ, независимо отъ содержанія". Это слова Толстого о Чеховѣ, слова, въ которыхъ есть отбѣнокъ удивленія и зависти. Нельзя лучше опредѣлить различіе между обоими писателями. Толстой тогда же сказалъ: "Чеховъ несравненный художникъ... несравненный!" Дѣйствительно, у Чехова несравненное ощущеніе реальной жизни, несравненное богатство знаній, опыта, пониманія. Но читая Чехова, не оживлялъ ли Толстой его картинъ своимъ гениемъ? Не прельщали ли Толстого въ нихъ шедрость, разнообразіе, подлинность матерьяла? Единнаго стержня у Чехова нѣтъ. Чеховъ знаетъ человѣка, какъ никто, но онъ не знаетъ, что съ человѣкомъ дѣлать. Оттого по сравненію съ Толстымъ можно лишь съ оговорками говорить о "творчествѣ" Чехова. Тамъ, у Толстого, и у Гоголя, и у Достоевскаго, конечно, поистинѣ творчество. Толстой врывается въ міръ, какъ богоподобный духъ, все разбрасываетъ, расцѣпываетъ, во все проникаетъ и оставляетъ послѣ себя нѣкую новую вселенную, не совершенную, но живую, со спорными, но живыми законами, съ началомъ и концомъ, добромъ и зломъ, гибелью и безсмертіемъ. У Чехова отраженіе существующаго, даннаго и вмѣсто страсти — мечты.

Означаетъ ли это, что Чеховъ былъ лишенъ ощущенія Бога? Или что съ Чеховымъ совершилось исчезновеніе божества изъ русской литературы? Очень похоже на то. Впечатлѣніе "отсутствія стержня", по видимому, имѣнно этимъ вызвано. Не случайно Чеховъ имѣетъ такое распространеніе на Западѣ, гдѣ съ потерей божества уже свыклись. Не случайно Андрея Моруа, на примѣръ, писатель остроумный и умный, обмолвился странными для насъ словами: "Чеховъ, быть можетъ, величайшій изъ русскихъ писателей". На Западѣ вся "метафизическая тревога", какая осталась, обращена на человѣка, заключена внутри его и ни съ чѣмъ, лежащимъ во внѣ, не считается. Судить же личность для Запада невозможно, ибо нѣтъ помимо личности никакой "точки опоры". То, что для насъ въ Толстомъ или Достоевскомъ еще главное — для Моруа, вѣроятно, уже второстепенное. Его несомнѣнно даже раздражаетъ, что Толстой врывается въ свои романы какъ Саваофъ, отяжеляетъ, искажаетъ ихъ, — ему хотѣлось бы побольше наблюдений, проникновеній, психологическихъ Америкъ. Ему трудно установить различіе между толстовскимъ пафосомъ и западной болтовней какого-нибудь мѣстнаго французскаго "пророка", который тоже непрочь потолковать о добрѣ и злѣ, о долгѣ, истинѣ и воздаяніи. И съ нѣкоторой брезгливостью онъ въ глубинѣ души предпочитаетъ скромное и чистое искусство Чехова, состоящее изъ реальностей: безъ Бога, котораго, можетъ быть, и нѣтъ, но съ человѣкомъ, который есть на вѣрно и въ расчетъ на котораго обмануться не возможно.

Чеховъ принесъ съ собой въ русскую литературу то, о чемъ у него въ "Чайкѣ" говоритъ писатель Тригоринъ: умѣніе въ одномъ словѣ все выразить и, въ особенности, показать. Это у Чехова восхищало Толстого и на первыхъ порахъ всѣмъ каза-

лось волшебствомъ. Если намъ теперь это умѣніе волшебствомъ не кажется, то лишь потому, что у Чехова его многіе перенили, — оно стало механическимъ и потеряло смыслъ. Чеховъ однимъ — двумя штрихами давалъ пейзажъ, характеризовалъ человѣка. Теперь третъестепенный писатель знаетъ, какъ описать то или другое, чтобы "все было какъ будто передъ глазами", и — что скрывать? — къ этому наполовину и свелось русское беллетристическое искусство. Очень хорошо, если писатель можетъ показать какого нибудь Ивана Ивановича, надѣвающего, скажемъ, пальто, — такъ, чтобы мы его "видѣли" и притомъ съ минимальной затратой средствъ. Но если въ этомъ цѣль литературы — если эта роскошь техники ничѣмъ не оправдана изнутри, ничему, кромѣ фотографическихъ упражненій, не служитъ, она никакого значенія не имѣетъ. Чеховскій импрессионизмъ не былъ, очевидно, таинственной особенностью его творчества — онъ былъ приѣмомъ, которому оказалось возможнымъ научиться и который удалось обезцѣпить. У Чехова онъ удачнее — у другихъ слабѣе — дѣло на существу не измѣняется.

Но разоблаченіе мастерства не стало для Чехова роковымъ, — и не могло бы стать. Не въ мастерствѣ была его главная сила, и не благодаря ему Чеховъ прочно занялъ свое мѣсто въ русской литературѣ, — одно изъ первыхъ, конечно. Мнѣ кажется, что мѣсто это непосредственно вслѣдъ за Тургеневымъ, которому Чеховъ все-таки во многомъ уступаетъ. Это, впрочемъ, вопросъ спорный: о сравненіи Чехова съ Гоголемъ, Достоевскимъ или Толстымъ не можетъ быть рѣчи, относительно же Тургенева возможны колебанія... На мой взглядъ Тургеневъ глубже и отчетливѣе въ замыслахъ, сильнѣе и какъ бы "музыкальнѣе" въ подборѣ словъ, въ самомъ ритмѣ своемъ. У Тургенева, особенно въ послѣднихъ его вещахъ, попадаются страницы, которыя Чехову недоступны.

Но у Чехова есть передъ Тургеневымъ преимущество несомнѣнное — у него больше любви и оттого больше пониманія жизни. Здѣсь умѣстно вспомнить еще разъ о "холодной крови", про которую писалъ Михайловскій. Нельзя было сказать невѣрнѣе, Чеховъ со всей своей неясностью, нерѣшительностью, да еще съ холодной кровью въ придачу, дѣйствительно, былъ бы "начальнымъ зрѣлицемъ" (слова все того же Михайловскаго). Но у Чехова сердце разрывалось отъ сочувствій, ужаса, печали, жалости, любви — и какая ужъ тутъ "холодная кровь"! Это, въ сущности, главное очарованіе Чехова — любовное. Въ этомъ онъ — на уровнѣ величайшихъ. За него русскіе читатели и окружили его отвѣтной любовью такой, какую кромѣ Толстого никто у насъ не знаетъ. Чеховъ никогда не указывалъ никакихъ путей людямъ, онъ откровенно признавался, что не знаетъ ихъ, но одно за другимъ онъ придумывалъ самыя безвыходныя и трагическія сочетанія человѣческихъ душъ, какъ будто только для того, чтобы вмѣстѣ съ ними измучиться. Да и пьесы его, — художественно слабѣйшая часть Чеховскаго наслѣдія, — эти пьесы живы до сихъ поръ дѣйствительностью своего лиризма, тембромъ, вѣстиво слышимого авторскаго голоса, убѣдительностью вопреки словамъ и прямому смыслу, любовью въ концѣ концовъ. Сценичны онѣ или не сценичны, хорошо или плохо "сдѣланы" — не существенно. Онѣ остаются незабываемыми въ своей искренности — и неповторимо личными.

Этотъ "пѣвецъ хмурыхъ людей", отраптель "безвременья", тосковавшій о прекрасной жизни будущаго, писатель, знавшій въ мірѣ только человѣческую душу, не умѣвшій ей помочь, но во всемъ ей сострадавшій, — печальный и насмѣшливый Чеховъ вошелъ въ сознаніе Россіи навсегда. Были среди поэтовъ ея болѣе гениальные, великіе, вѣще, — не было ей болѣе близкаго.

Георгій Адамовичъ